

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ И
ПОЭМЫ

Владимир Владимирович Маяковский

Стихотворения и поэмы

Серия «Школьное чтение (АСТ)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=34038897

Стихотворения и поэмы:

ISBN 978-5-17-108265-9, 978-5-17-108264-2

Аннотация

Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930) – один из крупнейших русских поэтов, новаторское творчество которого имело огромное значение для всей поэзии XX века. На формирование мировоззрения поэта особенно повлияли демократическая атмосфера, царившая в семье, и первая русская революция. В. Маяковский решил посвятить свое творчество борьбе с существовавшим тогда строем. Главной задачей поэт считал с помощью своих стихов приближать будущее. Назначение поэта – нести свет людям: свет звезд и свет солнца («Послушайте!», «Необычайное происшествие...»). Маяковский – оратор и лирик. Его агитационные и лирические стихи обращены к широким массам и лично к каждому. Поэту необходим душевный разговор с читателем («А вы могли бы?», «Скрипка и немножко нервно»). В сборник вошли стихотворения и поэмы, написанные в разные годы жизни поэта.

Содержание

Стихотворения	6
Ночь	6
Утро	7
Порт	9
Из улицы в улицу	10
А вы могли бы?	12
Вывескам	13
Любовь	14
Я	15
Адище города	20
Нате!	21
Послушайте!	22
Мама и убитый немцами вечер	24
Скрипка и немножко нервно	27
Вам!	29
Гимн обеду	30
Надоело	32
Себе, любимому, Посвящает эти строки автор	35
России	38
Хорошее отношение к лошадям	40
Необычайное приключение, Бывшее с	43
Владимиром Маяковским летом на даче	
О дряни	49

Прозаседавшиея	52
Париж	55
Весенний вопрос	61
Конец ознакомительного фрагмента.	62

**Владимир Владимирович
Маяковский**

Стихотворения и поэмы

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Стихотворения

Ночь

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.
Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, *как* желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.
Толпа – пестрошерстая быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.
Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул; пугая
дарами в жесь, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.

Утро

Угрюмый дождь скосил глаза.

А за

решеткой четкой

железной мысли проводов —

перина.

И на

нее

встающих звезд

легко оперлись ноги. Но гибель фонарей,

царей

в короне газа,

для глаза

сделала больней

враждующий букет бульварных

проституток.

И жуток

шуток

клюющий смех —

из желтых

ядовитых роз

возрос

зигзагом.

За гам

и жуть

взглянуть

отрадно глазу:

раба

крестов

страдающе-спокойно-безразличных,

гроба

домов

публичных

восток бросал в одну пылающую вазу.

1912

Порт

Просты́ни вод под брюхом были.
Их рвал на волны белый зуб.
Был вой трубы – как будто лили
любовь и похоть медью труб.

Прижались лодки в люльках входов
к сосцам железных матерей.
В углах оглохших пароходов
горели серьги якорей.

1912

Из улицы в улицу

У

лица.

Лица

у

догов

годов резче.

Че

рез

железных коней

с окон бегущих домов

прыгнули первые кубы.

Лебеди шей колокольных,

гнитесь в силках проводов!

В небе жирафий рисунок готов

выпестрить ржавые чубы.

Пестр, как форель,

сын

безузорной пашни.

Фокусник

рельсы

тянет из пасти трамвая,

скрыт циферблатами башни.

Мы завоеваны!

Ванны.

Души.

Лифт.
Лиф души расстегнули.
Тело жгут руки.
Кричи, не кричи:
«Я не хотела!» —
резок
жгут
муки.
Ветер колючий
трубе
вырывает
дымчатой шерсти клочок.
Лысый фонарь
сладострастно снимает
с улицы
черный чулок.

1913

А вы могли бы?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

1913

Вывескам

Читайте железные книги!
Под флейту золóченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.
А если веселостью песьей
закружат созвездия «Магги» —
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги.
Когда же, хмур и плачевен,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки!

1913

Любовь

Девушка пугливо куталась в болото,
ширились зловеще лягушечьи мотивы,
в рельсах колебался рыжеватый кто-то,
и укорно в буклях проходили

ЛОКОМОТИВЫ.

В облачные пары сквозь солнечный

угар

врезалось бешенство ветряной мазурки,
и вот я – озноенный июльский

тротуар,

а женщина поцелуи бросает – окурки!

Бросьте города, глупые люди!
Идите голые лить на солнцепеке
пьяные вина в меха-груди,
дождь-поцелуи в угли-щеки.

1913

Я

1

По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле облака
застыли
башен
кривые выи —
иду
один рыдать,
что перекрестком
распяты
городовые.

Несколько слов о моей жене

Морей неведомых далеким пляжем

идет луна —

жена моя.

Моя любовница рыжеволосая.

За экипажем

крикливо тянется толпа созвездий

пестрополосая.

Венчается автомобильным гаражем,

целуется газетными киосками,

а шлейфа млечный путь моргающим пажем

украшен мишурными блестками.

А я?

Несло же, палимому, бровей коромысло

из глаз колодцев студеные ведра.

В шелках озерных ты висла,

янтарной скрипкой пели бедра?

В края, где злоба крыш,

не кинешь блесткой лесни.

В бульварах я тону, тоской песков оваян:

ведь это ж дочь твоя —

моя песня

в чулке ажурном
у кофеен!

3

Несколько слов о моей маме

У меня есть мама на васильковых обоях.
А я гуляю в пестрых павах,
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.
Заиграет вечер на гобоях ржавых,
подхожу к окошку,
веря,
что увижу опять
севшую
на дом
тучу.
А у мамы больной
пробегают народа шорохи
от кровати до угла пустого.
Мама знает —
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.
И когда мой лоб, венчанный шляпой

фетровой,

окровавит гаснущая рама,
я скажу,
раздвинув басом ветра вой:
«Мама.
Если станет жалко мне
вазы вашей муки,
сбитой каблуками облачного танца, —
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»

4

Несколько слов обо мне самом

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибоем смеха мгlistый вал заметили
за тоски хоботом?
А я —
в читальне улиц —
так часто перелистывал гроба том.
Полночь
промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола

скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.
Кричу кирпичу,
слов иступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжался хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется

дорогою дольней.

Это душа моя
ключьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалой мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»

Адище города

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечеряющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже – скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

Нате!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгий жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я – бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;

вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах

и без калош.

Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется —

И ВОТ

я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я – бесценных слов транжир и мот.

Послушайте!

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —

значит – это кому-нибудь нужно?

Значит – кто-то хочет, чтобы они были?

Значит – кто-то называет эти плевочки

жемчужиной?

И, надрываясь

в метелях полуденной пыли,

врывается к богу,

боится, что опоздал,

плачет,

целует ему жилистую руку,

просит —

чтоб обязательно была звезда! —

клянется —

не перенесет эту беззвездную муку!

А после

ходит тревожный,

но спокойный наружно.

Говорит кому-то:

«Ведь теперь тебе ничего?

Не страшно?

Да?!»

Послушайте!

Ведь, если звезды
зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1914

Мама и убитый немцами вечер

По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу

глазет.

Вплакались в орущих о побитом

неприятеле:

«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Письмо.

Мама, громче!

Дым.

Дым.

Дым еще!

Что вы мямлите, мама, мне?

Видите —

весь воздух вымощен

громыхающим под ядрами камнем!

Ма – а – а – ма!

Сейчас притащили израненный вечер.

Крепился долго,

кургузый,

шершавый,

и вдруг, —

надломивши тучные плечи,

расплакался, бедный, на шее Варшавы.

Звезды в платочках из синего ситца
визжали:

«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»

И глаз новолунья страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.

А вечер кричит,
безногий,
безрукий:

«Неправда,
я еще могу-с —
хе! —

выбрыцав шпоры в горячей мазурке,
выкрутить русский ус!»

Звонок.

Что вы,
мама?

Белая, белая, как на гробе газет.

«Оставьте!

О нем это,
об убитом, телеграмма.

Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

Скрипка и немножко нервно

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,

вытри!» —
я встал,
шатаюсь полз через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
Бросился на деревянную шею:

«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне – наплевать!
Я – хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

1914

Вам!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных

к Георгию

вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваеете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре... буду
подавать ананасную воду!

1915

Гимн обеду

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядер
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
по-прежнему будут ножки у пулярд,
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки —
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан, —
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и знак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет

МИЛЛИОНОВ —

твоих четыреста тысяч».

1915

Надоело

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.
Сияние.
Надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачной куче.
«Назад,
наз-зад,
назад!»
Страх орет из сердца,
Мечется по лицу, безнадежен и скупен.
Не слушаюсь.

Вижу,
вправо немножко,

неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.

Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.

Глядишь и не знаешь: дышит или

не дышит он.

Два аршина безлицега розоватого теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щек.

Сердце в исступлении,
рвет и мечет.

«Назад же!

Чего еще?»

Влево смотрю.

Рот разинул.

Обернулся к первому, и стало иначе:
для увидевшего вторую образину
первый —

воскресший Леонардо да Винчи.

Нет людей.

Понимаете

крик тысячедневных мук?

Душа не хочет немая идти,

а сказать кому?

Брошусь на землю,
камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт

омывая.

Истомившимися по ласке губами тысячью
поцелуев покрою

умную морду трамвая.

В дом уйду.

Прилипну к обоям.

Где роза есть нежнее и чайнее?

Хочешь —

тебе

рябое

прочту «Простое как мычание»?

Для истории

Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет – помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.

1916

Себе, любимому, Посвящает эти строки автор

Четыре.

Тяжелые, как удар.

«Кесарево кесарю – богу богово».

А такому,

как я,

ткнуться куда?

Где для меня уготовано логово?

Если б был я

маленький,

как Великий океан, —

на цыпочки б волн встал,

приливом ласкался к луне бы.

Где любимую найти мне,

такую, как и я?

Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!

Как миллиардер!

Что деньги душе?

Ненасытный вор в ней.

Моих желаний разнузданной орде

не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!

Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!

И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,

бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.

О, если б был я
тихий,
как гром, —
ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.

Я
если всей его мощью
выреву голос огромный —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я

тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!

Пройду,
любвищу мою волоча.
В какой ночи,
бредовой,

недужной,
какими Голиафами я зачат —
такой большой
и такой ненужный?

1916

России

Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.

Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.

Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина,
вижу —
выжжена южная жизнь.

Остров зноя.
В пальмы овазился.
«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.
Иные жмутся —
уйти б,

не кусается ль? —
Иные изогнуты в низкую лесть.
«Мама,
а мама,
несет он яйца?» —

«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».

Ржут этажия.
Улицы плятятся.
Обдают водой холода́.
Весь истыканный в дымы и в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декаблей.

1916

Хорошее отношение к лошадям

Били копыта.

Пели будто:

– Гриб.

Грабь.

Гроб.

Груб. —

Ветром опита,

льдом обута,

улица скользила.

Лошадь на круп

грохнулась,

и сразу

за зевакой зевака,

штаны пришедшие Кузнецким клёшить,

сгрудились,

смех зазвенел и зазвякал:

– Лошадь упала! —

– Упала лошадь! —

Смеялся Кузнецкий.

Лишь один я

голос свой не вмешивал в вой ему.

Подошел

и вижу

глаза лошадиные...

Улица опрокинулась,
течет по-своему...
Подошел и вижу —
за каплицей каплица
по морде катится,
прячется в шерсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть,
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя
казалась пошла́,

только
лошадь
рванулась,
встала на́ ноги,
ржанула
и пошла.

Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

1918

**Необычайное приключение,
Бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче
(Пушкино, Акулова гора,
Дача румянцева, 27 верст
по Ярославской жел. дор.)**

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,

жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра

снова
мир залить
вставало солнце а́ло.

И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.

И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»

Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут – не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»

Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»

Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,

по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,

валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему, —

skonфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь – не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность
забыв,
сизу, разговорясь
с светилом постепенно.

Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
– Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь – и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоюсь.

И скоро,
дружбы не тая,
бую по плечу его я.

А солнце тоже:

«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,

взорим,

вспоем

у мира в сером хламе.

Я буду солнце лить свое,

а ты – свое,

стихами».

Стена теней,

ночей тюрьма

под солнц двустволкой пала.

Стихов и света кутерьма —

сияй во что попало!

Устанет то,

и хочет ночь

прилечь,

тупая сонница.

Вдруг – я

во всю светаю мочь —

и снова день трезвонится.

Светить всегда,

светить везде,

до дней последних донца,

светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

1920

О дряни

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон
Подернулась тиной советская мешанина.

И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения

стеклись они,

наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спальни.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,

говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать,
как коралловый риф!»

А Надя:

«И мне с эмблемами платья.

Без серпа и молота не покажешься в свете!

В чем

сегодня

буду фигурировать я

на балу в Реввоенсовете?!»

На стенке Маркс.

Рамочка а́ла.

На «Известиях» лежа, котенок греется.

А из-под потолочка

верещала

оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...

И вдруг

разинул рот,

да как заорет:

«Опутали революцию обывательщины нити.

Страшнее Врангеля обывательский быт.

Скорее

головы канарейкам сверните —

чтоб коммунизм

канарейками не был побит!»

1920–1921

Прозаседавшиеся

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.
Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели прийти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
гóло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорóгой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!

Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся

разум.

И слышу

спокойнейший голосок секретаря:
«Оне на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех
заседаний!»

1922

Париж

(Разговорчики с Эйфелевой башней)

Обшаркан миллионом ног.
Ишелестен тыщей шин.
Я борозжу Париж —
до жути одинок,
до жути ни лица,
до жути ни души.
Вокруг меня —
авто фантасят танец,
вокруг меня —
из зверорыбьих морд —
еще с Людовиков
свистит вода, фонтанясь.
Я выхожу
на Place de la Concorde¹.

Я жду,
пока,
подняв резную главку,
домовьей слежкой умаяна,
ко мне,
к большевику,
на явку

¹ Площадь Согласия (*фр.*).

выходит Эйфелева из тумана.
Т-ш-ш-ш,
башня,
тише шлепайте! —
увидят! —
луна – гильотинная жуть.
Я вот что скажу
(пришипился в шепоте,
ей
в радиоухо
шепчу,
жужжу):
Я разагитировал вещи и здания.
Мы —
только согласия вашего ждем.
Башня —
хотите возглавить восстание?
Башня – мы
вас выбираем вождем!
Не вам —
образцу машинного гения —
здесь
таять от аполлинеровских вирш.
Для вас
не место – место гниения —
Париж проституток,
поэтов,
бирж.
Метро согласилось,

метро со мною —
они
из своих облицованных нутр
публику выплюют —
кровью смоют
со стен
плакаты духов и пудр.
Они убедились —
не ими литься
вагонам богатых.
Они не рабы!
Они убедились —
им
более к лицам
наши афиши,
плакаты борьбы.
Башня —
улиц не бойтесь!
Если
метро не выпустит уличный грунт —
грунт
исполосуют рельсы.
Я подымаю рельсовый бунт.
Бойтесь?
Трактиры заступятся стаями?
Бойтесь?
На помощь придет Рив-гош²
Не бойтесь!

² Левый берег (фр.).

Я уговорился с мостами.

Вплавь

реку

переплыть

не легко ж!

Мосты,

распалясь от движения злого,

подымутся враз с парижских боков.

Мосты забунтуют.

По первому зову —

прохожих ссыпят на камень быков.

Все вещи вздыбятся.

Вещам невмоготу.

Пройдет

пятнадцать лет

иль двадцать,

обдрябнет сталь,

и сами

вещи

тут

пойдут

Монмартрами на ночи продаваться.

Идемте, башня!

К нам!

Вы —

там,

у нас,

нужней!

Идемте к нам!

В блесенье стали,
в дымах —
Мы встретим вас нежней,
чем первые любимые любимых.

Идем в Москву!

У нас
в Москве
простор.

Вы
— каждой! —
будете по улице иметь.

Мы
будем холить вас:
раз сто за день
до солнц расчистим вашу сталь и медь.

Пусть
город ваш,
Париж франтих и дур,
Париж бульварных ротозеев,
кончается один, в сплошной складбищась

Лувр,

в старье лесов Булонских и музеев.

Вперед!

Шагни четверкой мощных лап,
прибитых чертежами Эйфеля,
чтоб в нашем небе твой израдило лоб,
чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!

Решайтесь, башня, —
нынче же вставайте все,

разворотив Париж с верхушки и до низу!

Идемте!

К нам!

К нам, в СССР!

Идемте к нам —

я

вам достану визу!

1923

Весенний вопрос

Страшное у меня горе.

Вероятно —

лишусь сна.

Вы понимаете,

вскоре

в РСФСР

придет весна.

Сегодня

и завтра

и веков испокон

шатается комната —

солнца пропойца.

Невозможно работать.

Определенно обеспокоен.

А ведь откровенно говоря —

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.